

# ПРЕПОДАВАЯ «ПОВОРОТ К ПРОСТРАНСТВУ»: ЗАЧЕМ, КОМУ И ВМЕСТЕ С КЕМ?

Елена Трубина<sup>1</sup>

## Abstract

In disciplinary terms, *the spatial turn* results from the interaction between geography, sociology, and, increasingly, history, and aims at renewing the theoretical frames of these disciplines beyond nation-states by positing and questioning the global scale as a possible general theoretical level. It originated as a re-reading of the classics (Karl Marx, Henry Lefebvre, Michele Foucault) by such geographers as David Harvey, Ed Soja, and Doreen Massey in search for the concepts and ideas with which to grasp both the mutually shaping force of spatial and social relations, processes and forms and the increasing multidimensionality of space. The article tries to show that, in the context of higher education, these developments invite careful reflection of possible ways in which 'where-ness' of things and people can be discussed in the classroom. In particular, the author argues that various genealogies of the spatial turn are possible and, given the 'path-dependence' of the regional higher education system on selected strands of the western theories which became available during the last twenty years, it is Michele Foucault's spatial thought that merits particular attention. The notion of 'conceptual disciplining' is introduced in order to identify the sources of on-going tensions among the schools of thoughts, disciplines, and intellectual traditions variously engaged in or related to the spatial turn.

**Keywords:** Spatial turn, social geography, post-soviet neoliberalism, Michele Foucault, poststructuralism, Marxism, critique, higher education, interdisciplinarity, conceptual disciplining.

«Надо стараться найти ту скрытую точку, где житейский анекдот и афоризм мысли сливаются воедино – подобно смыслу, который, с одной стороны, есть атрибут жизненных ситуаций, а с другой – содержание мыслимых предложений. Тут существуют свои особые измерения, свои времена и пространства, свои

<sup>1</sup> Елена Трубина – доктор философских наук, профессор кафедры социальной философии философского факультета Уральского государственного университета им. А.М. Горького (г. Екатеринбург, Россия).

ледники или тропики – короче, целая экзотическая география, характеризующая как способ мышления, так и стиль жизни».

*Жиль Делёз*<sup>2</sup>

Ниже я приведу свои соображения в отношении «поворота к пространству», продиктованные опытом соруководства одноимённым образовательным и научным проектом HESP-ReSET<sup>3</sup>. Лавирование между условиями, поставленными спонсором (институтом «Открытое общество»), реалиями существования академической среды Украины, Беларуси, Молдовы, Грузии, Казахстана и России (стран, преподаватели из которых участвуют в этом проекте) и собственным пониманием пространственной проблематики препятствует формулированию «чисто» концептуальных соображений. С другой стороны, многое в моих наблюдениях продиктовано стремлением осмыслить происходящее в терминах «постсоветского неолиберализма» – совсем не очевидной концептуальной рамки, компоненты которой я только начинаю для себя соединять. Я исхожу из того, что препятствия и ограничения, с которыми сталкиваются постсоветские исследователи и преподаватели, связаны с местом университетов в неолиберальной глобальной экономике. Вузы по нарастающей становятся предметом политического интереса и специфического менеджмента, что не только ставит под вопрос традиционные академические свободы, но и весьма жёстко задаёт идентичности членов академических сообществ.

Хотя вопросы, приведённые в заглавии статьи, образовали и её первоначальный план (краткий ответ на вопрос «поворот куда», то есть обрисовка направления концептуального движения, ассоциируемого с «поворотом к пространству», наблюдения о переменах в студенческой аудитории и соображения о возможных линиях взаимодействия (в связи с пространством) членов социально-гуманитарного сообщества), признаюсь, что мне показалось более интересным соединить с теоретическими суждениями и размышления о нашем проекте, и рефлексию по поводу своего преподавания пространственной (и не только) проблематики, не отделяя (искусственно) идеи, их преподавание и адресатов.

### **«Вот – новый поворот»: экспансия географии или междисциплинарное движение?**

Констатации того, что последние двадцать лет развития социально-гуманитарного знания отмечены «поворотом к пространству», встречаются достаточно часто на Западе и гораздо реже – в

<sup>2</sup> Делёз Ж. *Логика смысла* / Перев. с фр. Я.И. Свирского. М.: Раритет; Екатеринбург: Деловая книга, 1998. С. 174.

<sup>3</sup> См.: <http://www.geocritical.org/about-the-project>.

статьях и книгах, выходящих по-русски.<sup>4</sup> Неслучайно один из многих текстов, посвящённых не пространству вообще, но именно «повороту к нему», вышедших в России, – рецензия трёх междисциплинарных коллекций, изданных в 2009-м немецкими историками и американскими географами.<sup>5</sup> В 2010 г. к указанным коллекциям добавилась ещё одна, озаглавленная *Пространство. Междисциплинарное руководство*<sup>6</sup> и составленная немецким медиа-исследователем Стефаном Гунзелем. Книга включает главы о поэтическом, историческом, политическом, экономическом, телесном, туристском, эпистемологическом, социальном, техническом, медиа-, когнитивном (ментальном), городском и ландшафтном пространствах и составлена с целью демонстрации последствий «поворота к пространству» для социального и гуманитарного знания. Умножение обсуждаемых сегодня видов пространства, рост числа феноменов, уподобляемых пространству, частота, с какой встречаются вполне оправданные, по-моему, словосочетания вроде «человек в пространстве повседневности» или «человек в пространстве истории», сами по себе симптоматичны: популярность метафоры набирает силу.

В то же время, похоже, такая продуктивная эклектичность возможна только на страницах междисциплинарных изданий, причём издаваемых не у нас: как показывают дискуссии в рамках нашего проекта, специалисты по социальному пространству рассуждают иначе, нежели те, кому интересно, скажем, медиа-пространство, либо те, кто занимается пространством в современном искусстве. Философы и социологи в нашем проекте стремятся к строгости в работе с понятиями (звучали даже призывы составить своего рода реестр вариантов употребления пространственных терминов – основу для дальнейшего их упорядочения). Культурологи, напротив, сомневаются в продуктивности такого концептуального «дисциплинирования». Учитывая, *во-первых*, что мы вместе ищем пути продуктивного междисциплинарного взаимодействия и, *во-вторых*, что один из наших приоритетов – изменить преподавание фундаментальных социально-гуманитарных дисциплин в сторону большей демократичности и учёта потребностей студентов, можно сказать, что мы сами друг для друга, во время наших дискуссий, моделируем студенческую аудиторию с её разнообразием мотиваций (и увы, неуклонно сокращающимся числом тех, что всерьёз думает о научной карьере), я сказала бы, что не понятия, а *ключевые во-*

<sup>4</sup> См., в частности, статью одного из редакторов этого тематического выпуска: Бедаш Ю. Пространство как проблема постметафизической философии // *Топос*. 2009. № 1(21). С. 94–113.

<sup>5</sup> Маяцкий М. Место пространству! Этот очень special «spatial turn» // *Пушкин*. 2009. [Электронный ресурс] Точка доступа: [www.russ.ru/pushkin/Mesto-prostranstvu!](http://www.russ.ru/pushkin/Mesto-prostranstvu!)

<sup>6</sup> Günzel S. (Hg.): *Raum. EininterdisziplinäresHandbuch*. Verlag J.B. Metzler. Stuttgart, 2010. В том же году вышла ещё одна, более узкая, коллективная монография: Fisher J., Mennel B. *Spatial Turns: Space, Place, and Mobility in German Literary and Visual Culture*. Rodopi, 2010.

*просы* могут быть общей почвой для наших дискуссий и основой для пересматриваемых учебных курсов.

Когда задумываешься о «сухом остатке» многочисленных текстов, посвящённых пространству сегодня, то понимаешь, что присутствующее им акцентирование *реляционности* и *материальности* понимания пространства – компонент достаточно сложной полемики специалистов вследствие непростых коллизий между разными школами в географии и разными же школами в социальной теории и гуманитаристике. К примеру, ратование за то, что пространство следует понимать как образованное разномасштабными социальными отношениями, – часть полемики по поводу понимания глобализации, в рамках которой «государство-центристские» подходы позиционируются как типичное проявление устаревшего «контейнерного» мышления в терминах национального государства. Где, в рамках каких курсов можно продуктивно расшатывать мышление в терминах замкнутых «контейнеров», если изучаемые, к примеру, классики социологии сами и способствовали тому, что и поныне главным объектом многих исследований (и главной рамкой) является не мир в целом, а национальное государство, и если к тому же многие культуры в наших университетах изучаются именно как национальные? Кто составит благодарную аудиторию для наших возможных речей о том, что национально-государственное мышление образует барьер на пути к новым способам анализа, к новым представлениям о мире? Но вот попробовать вместе ответить на вопрос «где?», т. е. где именно происходят те или иные изменения, а также подумать – *почему* это так важно, кажется более продуктивной стратегией. Ответы не должны сводиться друг к другу, каждый должен предполагать определённый контекст, в котором тот или иной ответ должен быть первым, какой приходит в голову, само собой разумеющимся. Здесь мы предполагаем не только собственно научные, но и более широкие контексты, в частности мифологические, культурные картины мира, фундаментальные повествования, в рамках которых пространство занимало бы определённое место. Не исключено, что ответ на вопрос «где?» есть ответ, который совпадает с той или иной картиной мира либо с вариантом его истории, каким-то убедительным сценарием происшедшего.

Обилие литературы, посвящённой пространству, в самых разных областях социально-гуманитарного знания, безусловно, можно считать самым главным следствием «поворота». Другим его следствием является смелость, с какой пространственные метафоры используются для описания процессов, протекающих где угодно: от черепной коробки до Сети. Попытки включиться в «поворот» служат хорошим стимулом для пересмотра оснований и истории ряда дисциплин и способствуют их открытости друг другу. С другой стороны, как всем известно, пространством занимается география, и, на первый взгляд, резонно считать, что раз происходит поворот к пространству, то это к географии должны по нарастающей стать открытыми другие дисциплины. Между тем, без-

условно растущее интеллектуальное влияние дисциплины далеко не всюду совпадает с её институциональным положением: если в процветающих частных университетах создаются новые географические центры<sup>7</sup>, то в вузах попроще география далека от процветания. Так, число преподавателей на многих факультетах университетов Европы и США сокращается, ряд факультетов закрыты, а существующие сталкиваются с вызовом, хорошо описанным австралийским географом:

«Исследователям неформально советуют перепрофилироваться на другие, предположительно более проблемно-ориентированные и технологичные, области вроде менеджмента окружающей среды, пространственной науки (*spatial science*) или урбанистических исследований, которые кажутся многим университетским менеджерам способными предложить более узкую профессиональную подготовку, обращаться к “реальным проблемам” и не закапываться в старых дисциплинарных “шахтах”»<sup>8</sup>.

Соединяя общую историю «поворота к пространству» и ещё очень короткую историю нашего проекта, нацеленного на создание и сплочение социально-гуманитарного сообщества интересующихся пространством людей, замечу следующее. Объявив конкурс на участие в HESP-ReSET проекте весной 2010 г., мы рассчитывали, что слова «социальная и культурная география» привлекут молодых преподавателей факультетов географии бывших советских республик и России. Так, на сайте Русского географического общества перечислено 176 вузов и колледжей России, где ведётся преподавание географических специальностей, но, возможно, каналы, по которым мы распространяли извещение о конкурсе, оказались недостаточными. Вероятно, сказались также инерция участия в предыдущих проектах HESP (участники ряда предыдущих подали заявки и были приняты) и тот факт, что в разных дисциплинарных сообществах – свои традиции повышения квалификации. Итог: географов в нашем проекте почти нет. Это очень досадно, потому что в дискуссиях об окружающей среде, экономике, обществе, культурном разнообразии географы могли бы сказать решающее слово. Ниже я попробую кратко разобраться в том, почему на наших школах мы обсуждаем пространство без географов. Понятно, что сказанное здесь ни в коей мере не относится к состоянию постсоветской или российской географии в целом.

Просмотрев сайты факультетов географии России и её ближайших соседей на западе и на юге, понимаешь, что преподавательской молодёжи на них почти нет и что традиционно сильная в Восточной Европе и России *физическая* география, пожалуй, превалирует среди преподаваемых там дисциплин. Анекдотическое под-

<sup>7</sup> См.: [Электронный ресурс] Точка доступа: <http://gis.harvard.edu/icb/icb.do>.

<sup>8</sup> Gibson C. Geography in Higher Education in Australia // *Journal of Geography in Higher Education*. 2007. Vol. 31(1). P. 99.

тверждение этому – сайт студентов географического факультета МГУ, где, среди прочего, утверждается, что самый популярный вопрос среди студентов I курса в октябре-ноябре следующий: «Какой у тебя градус?». Что буквально означает: «По какому меридиану ты чертишь комплексный физико-географический профиль?». <sup>9</sup> На академических конференциях при упоминании «поворота к пространству» можно натолкнуться на иронические улыбки географов (мыто, мол, туда давно повернули), однако напрасными будут поиски тех разнообразных видов пространства, которым посвящены упомянутые выше недавние немецкие компендиумы, среди названий диссертаций, защищаемых на географических факультетах или в представляемых географами на конференциях материалах. Так, по специальности 25.00.24 «Экономическая, социальная, политическая и рекреационная география» Алексеем Сидоренко недавно защищена работа под названием «Информационные и политические аспекты развития крупных городов России в 2000-х гг.» <sup>10</sup>, в выводах которой российские города без какой-либо дифференциации именуется «опорными пунктами глобальной мировой системы» (с. 21), лишний раз, по-моему, демонстрируя необходимость систематической рефлексии того, как в научной работе сочетаются воображаемое и реальное. Неслучайно географы-профессионалы подчёркивают, объясняя проблематичный статус социальной географии в интеллектуальной жизни России, что

«география на самом деле – это культура восприятия пространства. Неодинаковое пространство, неравномерное пространство» <sup>11</sup>.

В то же время московский географ А.Д. Арман, сожалея о том, что у географов нет надёжных оснований выделения специфики «своего», географического, пространства, подчёркивает, что до сих пор его коллеги не в состоянии сформулировать закон, или закономерность, «согласно которой строятся, сохраняются и исчезают географические системы, включающие абиотические, биологические и социальные компоненты» <sup>12</sup>, но что ближе всего к такому закону – модель размещения центральных мест Вальтера Кристаллера, суть которой в том, что «точечные объекты на земной поверхности имеют тенденцию располагаться не слишком близко друг к другу и не слишком далеко» в случае, когда на них распространяются силы притяжения и отталкивания. А.Д. Арман продолжает разговор, ссылаясь на «модификации общефизических закономер-

<sup>9</sup> *Геофакер. Неофициальный сайт географического факультета МГУ // [Электронный ресурс] Точка доступа: <http://geofaker.lgb.ru/default.aspx?ti=3&hti=15&hhti=113>.*

<sup>10</sup> См.: [www.geogr.msu.ru/science/diss/oby/Sidorenko.pdf](http://www.geogr.msu.ru/science/diss/oby/Sidorenko.pdf).

<sup>11</sup> Орешкин Д. «Все свободны» – разговор на свободные темы // *Радио «Свобода»*. 2005. 16 окт. [Электронный ресурс] Точка доступа: <http://archive.svoboda.org/programs/shen/2005/shen.101605.asp>

<sup>12</sup> Круглый стол «Изменения территориальной организации общества в условиях становления постиндустриализма» // *Август Леш как философ экономического пространства*. М.: «Эслан», 2007. С. 293.

ностей», и хотя понятно, что это – частное обсуждение частного вопроса, в нём, по-моему, можно вычлениить некоторые черты когнитивного стиля, проявляющегося во множестве отечественных географических штудий.

*Во-первых*, это уверенность в существовании общих закономерностей, с помощью которых можно описать пространство, геометрическое ли, физическое или географическое. *Во-вторых*, это мышление в терминах «систем», в данном случае географических систем, сочетающих в себе различные подсистемы, включая биологические и социальные. *В-третьих*, это отождествление научности рассуждений с разговорами, ведущимися на самом абстрактном уровне из всех мыслимых. Не странно ли, в самом деле, что идеи Кристаллера, сформулированные им в 1933 в книге *Центральные места южной Германии*, семьдесят лет спустя географом страны, отмеченной фантастическим разнообразием ландшафтов, очищаются от всех возможных пространственных коннотаций и превращаются в повод говорить о «точечных объектах»? Разумеется, часть географического сообщества России как раз и посвятила профессиональную жизнь описанию этого разнообразия, но в описании содержания читаемых в университетах и педвузов курсов слишком, по-моему, часто встречаются разговоры на поистине вселенском уровне «человека» и «окружающей среды». Не этим ли объясняется то, что когда речь заходит о том, что именно географы делают с продуцируемым и воспроизводимым знанием, хвастаться им особенно нечего? Между тем если брать примеры из опыта географических сообществ других стран, то именно способность интересно описать региональную и городскую специфику развития стран и городов Азии позволила коллегам активно включиться в англоязычные дебаты, посвящённые глобализации. В российских же университетах, когда дело доходит до социальной географии, она, как правило, объединяется с экономической, т. е. изучаются по преимуществу масштабные экономические регионы, а такие ключевые для современной географической теории понятия, как «пространство», «место», «масштаб», «взаимосвязь», «потоки», «сети», «процессы», «изменения», насколько можно судить по программам читаемых курсов и той академической продукции, с которой довелось познакомиться, растворяются в тех или иных версиях географического детерминизма. Между тем с их помощью можно добиться очень важного – более широкого осознания окружающего всех нас большого и взаимосвязанного мира.

Классик современной географии Дэвид Харви, настаивая, что география слишком важна для понимания событий мира, чтобы оставить её только географам, выделяет *четыре* ключевых компонента географического знания: картографические идентификации, знание положения того или иного объекта в географическом пространстве; понимание пространственно-временной динамики; знание характеристик местности, места и региона; знание окружа-

ющей среды, или отношений между природным и культурным.<sup>13</sup> Он подчёркивает, что следует различать использование понятия пространства «как ключевого элемента материалистического проекта понимания осязаемых географий “на местах”» и «присвоение пространственных метафор социальной, литературной и культурной теорий»<sup>14</sup> – занятие, которое, с его точки зрения, обрело популярность в постструктурализме для проблематизации метанарративов вроде марксистского. Как видим, знаменитый географ, серьёзно способствовавший тому, что пространство стало столь значимым для интеллектуалов, идентифицируется с «материалистическим проектом» и дистанцируется от постструктурализма; и он, как я покажу ниже, следует здесь неомарксистской традиции понимания пространства, заложенной Анри Лефевром. Это приводит нас к проблеме генеалогии «поворота к пространству».

### Генеалогия «поворота»

Использование для описания смены теоретических приоритетов метафоры «поворота» радует умеренностью: царившие в прошлом «измы» потому с неумолимостью и приводили к появлению «пост-» и «нео-» двойников, что чересчур ко многому обязывали своих сторонников. Множество «поворотов», под знаком которых сформировалось уже не одно поколение исследователей («лингвистический» был, кажется, первым), способствует представлению об академической деятельности, и в частности о деятельности научной, как крайне разнородной и образованной взаимодействием школ, сообществ, позиций, парадигм, традиций, друг с другом конкурирующих и спорящих и друг на друга влияющих. Само знание и практики, его порождающие, мыслятся как всегда исторически и социально обусловленные, побуждая по-новому относиться к истинам и теориям, позиционируемым как универсальные и вневременные. Повороты «нормативный» и «перформативный», «аретический» и «нарративный», «материальный» и «практический» рождают, в свою очередь, стремление отойти в сторону и посмотреть, что же было упущено в случае слишком радикальной или слишком поспешной концептуальной перестройки, или разобратся в том, что происходит «после» того или иного поворота. Не этим ли объясняется, что почти каждый из упомянутых поворотов фигурирует в названиях коллективных монографий со словом «*beyond*», т. е. «после» или «помимо»?<sup>15</sup>

<sup>13</sup> Harvey D. Cartographic Identities: geographical knowledge under globalization // *Spaces of Capital: Towards a Critical Geography*. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2001. P. 3.

<sup>14</sup> Harvey D. Space as a Keyword // N. Castree, D. Gregory (eds.) *David Harvey: a Critical Reader*. P. 278.

<sup>15</sup> Hacker P. Analytic Philosophy: Beyond the Linguistic Turn and Back Again // M. Beaney (ed.) *The Analytic Turn. Analysis in Early Analytic Philosophy and Phenomenology*. New York: Routledge, 2000. P. 125–133; Allweil Y. Beyond the Spatial Turn: Architectural History at the Intersection



Думая о том, как составить учебный курс не по конкретной дисциплине и не о влиятельном мыслителе, а о смене приоритетов во всём корпусе социально-гуманитарного знания, приходишь к выводу, что в разных странах возможна своя генеалогия «поворота к пространству». К примеру, немецкий историк городов Восточной Европы Карл Шлегель в своей монографии *В пространстве читаем мы время* среди влиятельных участников поворота к пространству называет Эда Соджу, Анри Лефевра, Дэвида Харви и И-Фу Туана<sup>16</sup>, но не упоминает Мишеля Фуко. Дэвид Харви, в свою очередь, критикует Мишеля Фуко за непродуманность пространственных построений.<sup>17</sup> Напротив, Соджа, по-моему, более точен, заявляя, что «поворот к пространству начинался в Париже»<sup>18</sup>, с Фуко и Лефевра, и сетуя, что в силу целого ряда социальных и политических обстоятельств инициированный ими поворот не получил развития и оставался скрытым в течение двух десятилетий. Учитывая, что Фуко в России, Украине, Беларуси и других странах и переведён шире и освоен активнее, чем Лефевр, не говоря уже о Содже и Харви, и принимая во внимание, что постструктурализм больше значит для большинства вузовских педагогов среднего и младшего поколения этих стран, чем материализм, можно предложить очень простой вариант генеалогии «поворота». Подчеркну, что его педагогическая польза – больше, поскольку если из Соджи и Харви многое приходится пересказывать, то Фуко можно *читать*, добываясь у студентов того, что А. Бикбов точно называет «эффектом “очарования” пророческим текстом Фуко, который производит собственную, противостоящую обыденной очевидность»<sup>19</sup>.

«Пространство, а не время!» – не этим ли тезисом вошёл в историю постструктурализм? Начало «поворота» можно датировать мартом 1967-го, когда Мишель Фуко прочитал лекцию, позднее получившую название *Другие пространства* и впервые опубликованную на языке оригинала в октябре 1984 г. Лекция начинается с энергичного утверждения:

«Как мы знаем, великим наваждением девятнадцатого века была история с её темами развития и приостановки, кризиса и цикла, накапливающегося прошлого, с её великим перевесом мёртвых и угро-

---

of the Social Sciences and Built Form // *The Proceedings of Spaces of History/Histories of Space: Emerging Approaches to the Study of the Built Environment*. College of Environmental Design, UC Berkeley. [Electronic resource] Mode of access: <http://escholarship.org/uc/item/9rt7c05f>.

<sup>16</sup> Schlögel K. *Im Raumelesen wir die Zeit: Über Zivilisationsgeschichte und Geopolitik*. 2003. S. 63.

<sup>17</sup> Harvey D. Cosmopolitanism and the banality of geographical evils // *Public Culture*. 2000. Vol. 12(2). P. 529–564.

<sup>18</sup> Soja E. Taking Space Personally // W. Barney, S. Arias (eds.) *The Spatial Turn: Interdisciplinary Perspectives*. P. 17.

<sup>19</sup> Бикбов А. Пространственная схема аналитики Фуко: социальное объяснение как инструмент разрыва с горизонтом обыденной очевидности // *Мишель Фуко и Россия*. М.: Летний Сад; СПб.: Европейский университет, 2002. С. 117.

жающим обледенением мира... Современная эпоха, возможно, кроме всего прочего будет эпохой пространства. Мы живём в эпоху одновременности, в эпоху наложения, эпоху близкого и далёкого, эпоху, когда многое существует бок о бок, эпоху рассеяния. Настоящий момент, мне кажется, таков, что наш опыт мира – не столько опыт длительной жизни, развёртывающейся во времени, сколько опыт сети, увязывающей пункты и пересекающейся со своими собственными сплетениями».<sup>20</sup>

Мишель Фуко радикально проблематизировал предшествующие формы мысли, оспорив приоритет, отдаваемый философами времени:

«Со времён Канта то, что надлежит мыслить философу, – это время. Гегель, Бергсон, Хайдеггер... Одновременно обесценивается пространство, которое оказывается на стороне рассудка – всего, что есть аналитического, концептуального, мёртвого, застывшего, инертного».<sup>21</sup>

Почти дословно этот ход мысли повторен в его *Мыслях о географии*:

«С Бергсона или раньше это началось? Пространство трактовали как мёртвое, постоянное, недиалектичное, неподвижное. Напротив, время было богатством, избытком, диалектикой».<sup>22</sup>

Задержка с публикацией лекции Фуко (по убеждению Дэвида Харви, неслучайная) придаёт темпоральное измерение рассуждению о том, кто стоял у истоков «поворота к пространству», которое становится ещё серьёзнее, когда осознаёшь, что весьма схожим образом мыслившие пространство Фуко и Лефевр в «симметричной», т. е. предполагающей хорошее знакомство с идеями друг друга, дискуссии не состояли, хотя, излагая план *Производства пространства*, Лефевр вступает в полемику с Фуко. Его соображения следует здесь привести ещё и потому, что неомарксистский классик в 1974 году (год выхода книги по-французски) весьма скептически отзывается по поводу «такого и сякого» пространства, т. е. разговоров по поводу идеологического, литературного,

<sup>20</sup> Foucault M. Of Other Spaces // N. Mirzoeff (ed.) *Visual Culture Reader*. L.: Routledge, 1998, P. 237. Эта работа переведена на русский с французского, но не без неточностей (по крайней мере, если сравнивать с переводом на английский: так, в цитируемом фрагменте в существующем русском переводе слово «история» вообще исчезло). См.: Фуко М. Другие пространства. Гетеротопии [Текст]; перев. с франц. А. Муратова; ред. С. Ситар // *Проект International*. 2007. № 19. С. 170–179.

<sup>21</sup> Фуко М. Око власти // *Интеллектуалы и власть: Избранные политические статьи, выступления и интервью*; перев. с франц. М.: «Практика», 2002. С. 224.

<sup>22</sup> Foucault M. Questions of Geography // C. Gordon (ed.) *Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings 1972–1977*. New York: Pantheon Books, 1980. P. 63–77.

сновидческого пространства и т. д. Иными словами, то, что нам сегодня кажется одним из самых интересных *последствий* поворота, а именно: возможность обсуждать с помощью пространственных терминов интернет и субъективность, тело и поэзию, историю и экономику, познание и технику, Лефевр – зачинатель поворота – оценивает скептически, позиционируя себя как сторонника концептуальной строгости в использовании понятия пространства. В этом тексте у меня нет возможности подробно показать, зачем понадобилось Лефевру это упорное концептуальное дисциплинирование современников, но всякий одолевший его книгу согласится со мной, что строгость в работе с понятиями – отнюдь не самая сильная сторона мыслителя.

Лефевр возмущается тем, что «мы вечно слышим о пространстве того и/или пространстве этого: о литературном пространстве, идеологических пространствах, пространстве сна, психоаналитических топологиях и так далее и так далее». Предположительно фундаментальные эпистемологические штудии отмечены явным отсутствием не только идеи «человека», но и идеи пространства, невзирая на то что пространство упомянуто на каждой странице. Поэтому Фуко может спокойно утверждать, что

«знание – это пространство, в котором субъект может занять позицию и говорить об объектах, с которыми он имеет дело в своём дискурсе»<sup>23</sup>.

Фуко никогда не объясняет, что это за пространство, о котором он говорит, или как оно преодолевает разрыв между теоретической (эпистемологической) областью и практической, между ментальной и социальной, между пространством философов и пространством людей, имеющих дело с материальными вещами. Научная позиция, понятая как приложение «эпистемологического» мышления к приобретённому знанию, мыслится как «структурно» связанная с пространственной сферой. Эта связь, с точки зрения научного дискурса считаемая самоочевидной, никогда не концептуализируется.<sup>24</sup> Заметим невероятную избирательность прочтения Лефевром книги Фуко, в которой последний, по-моему, очень интересно демонстрирует возможности таких пространственных понятий, как «место», «позиция», «траектория» и т. д., и не раз заводит разговор о «социальном» пространстве – вотчине тех, кто, как Лефевр, размещают себя не в «пространстве философов», но в «пространстве людей, имеющих дело с материальными вещами». В цитируемой Лефевром книге (*Археология знания*) Фуко говорит и об «общественном здоровье в конкретном социальном пространстве»<sup>25</sup>, и об «анонимных исторических правилах, всегда определённых во времени и пространстве, которые установили в данную эпоху и для данного социального, экономического, географического или лингвистического

<sup>23</sup> Фуко М. *Археология знания*. Киев: Ника-Центр, 1996. С. 180.

<sup>24</sup> Lefebvre H. *The Production of Space*. Blackwell, 1991. P. 3–4.

<sup>25</sup> Фуко, *Археология знания*, указ. соч., с. 53.

пространства условия выполнения функции высказывания»<sup>26</sup>. Вероятное объяснение столь тенденциозного прочтения одним классиком другого можно почерпнуть несколькими страницами ниже, где Лефевр чеканит: «Правящий класс всеми доступными средствами стремится сохранить гегемонию, одно из них – знание. Тем самым проявляется связь между властью и знанием... указывая на антагонизм между обслуживающим власть знанием и формой познания, отказывающейся признать власть», – и подчёркивает, что этот антагонизм Фуко в своём тексте обходит стороной.<sup>27</sup>

Это очень и очень важный для наших целей момент, связывающий проблему интеллектуального первенства в формулировании оснований «поворота» с проблемой позиции интеллектуала перед лицом «глобального» капитализма. Когда я думаю, какую эволюцию проделали за 35 лет, что прошли с написания текста Лефевра, «формы познания, отказывающиеся признать власть», то есть о трансформации левого движения, о судьбе продуктивной социальной и политической критики и инстанциях, которые её существование могли бы поддерживать, то, признавая безусловный вклад неомарксизма в точное описание социально-экономического производства пространства, констатирую крайнюю противоречивость современного дискурса о критике и сопротивлении. Академически это проявляется в том, что марксизм активно используется в целях, опять, концептуального дисциплинирования, и на ряде конференций (вроде конференции по критической географии, что собирается этим летом во Франкфурте<sup>28</sup>) ты можешь стать объектом атаки коллег за то, что недостаточно страстно обличала противоречия позднего капитализма, а твоя солидарность с угнетёнными была выражена вяловато. В российском социологическом обществе есть свои варианты такого дисциплинирования: «Что-то мало я услышала здесь о социальном неравенстве», – может сказать после твоего доклада коллега, сформулировав «неотбиваемый» критический довод. С другой стороны, вспоминая атаку участников нашего проекта на одного из лекторов – Джона Шорта, который с чрезмерным энтузиазмом воспроизводил самую вульгарную версию дискурса глобализации (дескать, как здорово, что по своей кредитке в любой части света ты можешь извлечь деньги из банкомата и не это ли является замечательным свидетельством того, что глобализация создаёт пространство потоков, финансовых прежде всего), думаешь, что критическая позиция мыслящей части преподавательского сообщества – это поистине драгоценное наше общее достояние. Только вот как её транслировать?

<sup>26</sup> Фуко, *Археология знания*, указ. соч., с. 117.

<sup>27</sup> Lefebvre, *op. cit.*, p. 10–11.

<sup>28</sup> *VI International Conference of Critical Geography. General theme: «Crises – Causes, Dimensions, Reactions»*. Frankfurt am Main, Germany, 16–20 August 2011 // [Electronic resource] Mode of access: <http://www.geo.uni-frankfurt.de/ifh/Personen/belina/iccg2011/ENG/index.html>.

Преподавая на философском факультете и обсуждая со студентами и проблемы назначения человека, и изощрённость, с какой поддерживается социальный порядок, я иногда обнаруживаю, что школьное образование надёжно приобщило их к прогрессистскому нарративу. Они верят и в то, что наука со временем сможет решить все человеческие проблемы, и в то, что человеческий удел будет постепенно улучшаться, и в то, что свобода и равенство получат всё большее распространение. Оглядываясь назад, они вроде бы обоснованно заключают, что социальные различия будут если не сняты, то, так сказать, «оптимизированы». Памятуя о том, что задачу философского просвещения классики моей профессии связывали скорее с лишением людей иллюзий, чем с их поддержанием, я спрашиваю себя: стоит ли обращать внимание студентов на то, что задачи радикальных социальных реформ сегодня ни одна политическая сила не ставит и что глобальный капитализм представляет, по сути, единственную «тотальность», как говорят философы, то есть единственную объяснительную рамку, единственный контекст для наших размышлений?

В контексте единственности капитализма как объяснительной рамки можно точнее понять обескураживающие рассуждения харизматичного американского политического философа Уэнди Браун о двух революционных мечтах, умерших в последние двадцать лет, а именно социалистической и феминистской (и сексуальной).<sup>29</sup> Экономическая неэффективность государственного социализма в рамках глобального капитализма, а также отсутствие освободительного потенциала в социалистическом по характеру труде, приведшие к краху социалистических режимов, поставили в сложное положение Новую Левую, пишет она. Вроде бы попытались Хардт и Негри представить что-то вроде мирового социализма, возможного за счёт самоуправляющихся независимых поселений, но кого это вдохновило? Проблема в том, как пишет Браун, что

«почти невозможно представить освободительный, экологический и экономически вменяемый социализм, который вытекал бы из текущего развития того, что Маркс называл “производительными силами”, то есть который был бы сопоставим с современной политической, экономической или социальной организацией пространства и населения и не был подвержен коррупции известными нам сегодня опасными способами осуществления власти»<sup>30</sup>.

У. Браун, по-моему, очень хорошо формулирует урок, который мы все извлекали по мере того, как в наших странах упрочивался капитализм, что

«мужчин и женщин можно сделать взаимозаменяемыми винтиками в современной и будущей капиталистической машинерии, где редко

<sup>29</sup> Brown W. *Women Studies Unbound: Revolution, Mourning, Politics // Parallax*. 2003. Vol. 9, № 2. P. 3–16.

<sup>30</sup> Brown, *op. cit.*, p. 8.

нужна физическая сила, где мало значит продолжительность работы на одном месте, где работа, связанная с воспроизводством, почти полностью коммодифицирована, а само воспроизводство почти отделимо от тел и в любом случае отделимо от сексуального разделения труда»<sup>31</sup>.

Похоже, связь капитализма и подчинения (гендерного, классового, этнического) более сложна и неоднозначна: капитализм эксплуатирует различия, коммодифицирует и реифицирует сексуальные различия, но обладает также и мощной гомогенизирующей силой. Проблема заключается в другом, и позвольте мне здесь снова процитировать Браун:

«Может ли при капиталистическом социальном порядке поддерживаться и принять форму живой и организованной оппозиции ... именно радикальная критика систематических проявлений несправедливости и страдания и радикальное видение альтернатив?»<sup>32</sup>

Возвращаясь к дискуссиям со студентами, амбивалентность моих раздумий по поводу которых я пытаюсь здесь передать, можно сказать в этой связи, что студенты часто равнодушны и к радикализму и к критике, потому что в их сознании нарративы прогресса и капитализм накрепко соединены и они уверены в том, что, как и раньше, капитализм будет демонстрировать свою способность к самореформированию. Зачем же тогда суетиться и тратить время на непродуктивную критику? Но проблема в том, что капитализм довольно жёстко конструирует социальное воображение, и в публичной сфере циркулируют только те мечты и упования, которые согласуются с его сутью и сохранением статус-кво. Внятные альтернативы нынешнему социальному порядку очень трудно и формулировать и пропагандировать.

Что представляет собой теория, из которой вычли убеждение в том, что условия подчинения могут быть не только определены и описаны, но и трансформированы? Так, Браун задаётся вопросом: если феминисты продолжают только описывать виктимизацию женщин и социальную конструкцию этой виктимизации, то в чём конечная цель этой работы? Иными словами, чего оно всё стоит, если продолжать умножать насыщенные описания угнетения? Браун пишет: почему мы всегда описываем, что власть делает с нами, почему наши предложения всегда включают лишь, так сказать, приручение власти, добывание защиты посредством законов и регулирования? Чего всё это стоит, если мы не можем себе представить мир, в котором сами управляем и в котором мы свободны от того вектора идентичности, с которым сопряжено столько наших ран? Кстати сказать, чем мы образованнее и квалифицированнее, тем точнее мы представляем, почему это невозможно. Не получается ли, что благодаря Фуко с его учением о замкнутых эпистемах и микрофизике власти мы поняли не только, что не надо ки-

<sup>31</sup> Brown, op. cit., p. 9.

<sup>32</sup> Ibid.

вать на власть «вверху», потому что она вездесуща и пронизывает все закоулки наших отношений, но что мы никогда не в состоянии точно понять принципы её работы? И даже марксизм, с его проблематикой ложного сознания, обрисовал те нешуточные усилия, которые нужно предпринять коллективному субъекту, чтобы понять подлинные условия своего существования и механизмы их изменения. Чем больше мы знаем про силу социального конструирования, тем, как кажется, безвыходнее наше общее положение.

Это, однако, рассуждения, сформулированные в конце первого десятилетия XXI века. Когда А. Лефевр восставал против «контейнерного» представления о пространстве и призывал продумывать альтернативные принципы организации пространства, он настаивал на том, что новое знание о пространстве должно одновременно учитывать прошлое и смотреть в будущее, а точнее, помочь понять, как именно общества порождают пространство и какие именно факторы следует учесть в будущем, размышляя о «проекте ... другого пространства и другого времени в другом (возможном или невозможном) обществе»<sup>33</sup>. «Другого пространства?» – Но постойте, не о других ли пространствах и толковал его более знаменитый современник в своём долго ожидавшем публикации тексте 1967 года:

«Пространство, в котором мы живём, которое выводит нас из себя, в котором происходит эрозия наших жизни, времени и истории, которое царапает и грызёт нас, есть также, в себе, гетерогенное пространство. Другими словами, мы не живём в пустоте, внутрь которой можно помещать людей и предметы. Мы не живём в пустоте, которую можно подсветить разными оттенками света, мы живём внутри набора отношений, очерчивающих несводимые друг к другу и не взаимозаменяемые места»<sup>34</sup>.

Не насущнее ли сегодня эти строки по сравнению с идеями Лефевра, который, увязав другое пространство с другим временем, утопически уводит разговор в неведомое будущее?

Говоря о Фуко, столь радикальное противопоставление времени и истории пространству, которое мы находим в процитированных выше строках, было частью более масштабного проекта мыслителя, а именно археологии знания, частью которого было формулирование особенностей дискретных дискурсивных формаций, создающих субъектов и объектов знания, и условием реализации которого Фуко считал необходимость «избавиться от целой массы понятий, каждое из которых диверсифицирует тему непрерывности»<sup>35</sup>. Археология – критический проект, при этом критике подвергается и социальный порядок, и мастер-нарративы, которые укладывают историю в телеологические схемы, а индивидуальные стили и предпочтения говорящих изображают как за-

<sup>33</sup> Lefebvre, *op. cit.*, p. 91.

<sup>34</sup> Foucault, *Of Other Spaces*, *op. cit.*, p. 239.

<sup>35</sup> Фуко, *Археология знания*, указ. соч., с. 11.

ведомо вторичные по отношению к системам фундаментальных правил той или другой дискурсивной формации. Рассеяние, которое упоминает Фуко, – это прежде всего рассеяние дискурсивных формаций, формирующихся дискретно и в своей отдельности друг от друга:

«Конкретный дискурс может в один момент фигурировать как программа или институт, а в другой может функционировать как средство оправдания или маскировки практики, которая сама по себе остаётся безмолвной, или как вторичная интерпретация этой практики, открывая для неё новое поле рациональности»<sup>36</sup>.

Исторический момент формирования определённого пространства – вот то, что интересовало Фуко: дома призраков, тюрьмы и приюты, множющиеся в пространстве города, использование архитектуры для производства дисциплинарного пространства в целях нормализации индивидов и, более общим образом – открытие того, как можно дисциплинировать, нормализовать, упорядочить жизнь посредством заточения её в городском пространстве. Жизнь и болезни – отношения разворачивались, начиная со Средних веков, в городских стенах: социальный порядок укреплялся через понимание власти предрешающими, что можно сделать перед лицом эпидемии. «Проказа – сифилис – сумасшествие» – такую смысловую цепочку выстраивает Фуко в *Истории безумия*, начав её выразительным описанием «больших проплешин» на окраинах городов – пустующих после победы над проказой лепрозориев, которым впоследствии нашлось применение: в них поселились «повредившиеся в уме». Таким образом, исторический момент формирования определённого пространства неотделим от исключения кого-то из этого пространства и исчезновения из него чего-то навсегда.

Благодаря Фуко ощущения узника в пространстве камеры, став эмблемой модерности, вошли в общий европейский интеллектуальный багаж. Хрестоматийный сегодня анализ *Паноптикума Бенгама* – часть проекта генеалогии, ибо соединение архитектуры и социальной теории, реализуемое через тщательную работу мыслителя с планами и схемами, увязывает воедино пути мысли и механизмы контроля. Фуко не очень интересно то, как пространство можно *читать* (их, кстати, объединяет с Лефевром сильный скепсис по отношению к семиотике). Куда важнее, что *чувствует* обладатель тела, включённого в машину власти, исследующей, переустраивающей, распределяющей тела в пространстве, в свою очередь иерархически сегментируемом. Вот почему

«стоило бы написать целую историю различных пространств (которая в то же время была бы историей различных видов власти), начиная с больших геополитических стратегий и заканчивая мельчайшими тактиками по условиям расселения, историю архитектуры учреждений,

<sup>36</sup> Foucault M. *Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings, 1972–1977*. Ed. C. Gordon. Brighton: Harvester, 1980. P. 194–195.



классной комнаты или больницы, проходя через способы хозяйственно-политической дифференциации»<sup>37</sup>.

Этот проект Фуко противопоставляет многочисленным вариантам пространственного/географического редукционизма, согласно которым пространство мыслилось как данность либо как уже упомянутый «контейнер»: «место пребывания или распространения какого-либо народа, культуры, языка или государства»<sup>38</sup>. Фуко призывает перестать «уверять друг друга, что пространство предопределяет историю». Понять историю как пространство изменяющую и в нём откладывающуюся – вот что необходимо.

Сдвиг интересов Фуко от дисциплинарного пространства к пространству, создаваемому либерализмом и неолиберализмом и базирующемуся на безопасности, населении и территории (его работы по «правительности»<sup>39</sup>), делает его автором, крайне релевантным для дебатов по поводу неолиберальной глобализации. Кстати, иерархическая сегментация пространства, описанная Фуко как центральный принцип дисциплинарного общества, воспроизводится глобально – в нарастающем использовании «тюремным» государством практик исключения определённых категорий граждан из сферы юрисдикции, сводящим их к «нагой жизни» с помощью риторики «чрезвычайного положения», «исключительной ситуации», «особой опасности». Необиополитическая, или постполитическая, природа современной власти, которая не знает, что делать с миллионами «лишних» людей, существующих биологически, однако, жизнью, не имеющей экономического или политического значения, с использованием идей Фуко может быть описана точнее. Его тексты ближе самоощущению образованного субъекта, нежели те, в которых лишь утверждается, что пространство социально производится. Эта увлечённость идеями социальной сконструированности пространства была объяснима в 1970–1990-е, когда и появились ключевые для поворота к пространству тексты на языке оригинала.

Сегодня, когда власть основывает свою деятельность на «постфордистском постсоциальном контракте» (выражение Гуса Венна), когда трудно понять, что же это за общество, которое конструирует пространство – хоть в России, хоть в Америке; когда невозможно указать на субъекта ответственности ни в одном правительстве, но, напротив, происходит агрессивная индивидуализация ответственности, то есть адресация ответственности за себя тем, над кем правят; когда государство позиционирует себя как внешнее по отношению к определённым категориям людей, не уставая «геополитизировать» безопасность, население и территорию за счёт воспроизведения различия друг/враг, Фуко, так сказать, выдерживает прочитывание, а у Лефевра более насущным кажется анализ

<sup>37</sup> Фуко, *Око власти*, указ. соч., с. 223.

<sup>38</sup> Там же.

<sup>39</sup> Governmentality. – *Прим. ред.*

«консолидации государства в мировом масштабе»<sup>40</sup>. Но там, где Лефевр спешит увидеть *оппозицию* планам, техникам и программам государства, его последователь Дэвид Харви подчёркивает, что за три века государство слишком надёжно утвердило себя в качестве главного субъекта производства географического знания:

«Государственный аппарат с его интересами в правительности, администрации, налоговой сфере, планировании и социальном контроле последовательно, с восемнадцатого века, создавался как основное место сбора и анализа географической информации. Процесс формирования государства был и остаётся зависим от складывания определённых типов географического понимания... На протяжении последних двух веков государство остаётся местом производства географических знаний, необходимых для создания, поддержки и усиления его власти... Посредством механизмов планирования государство учреждает нормативные программы для производства пространства, определения территориальности, географического распределения населения, экономической деятельности, социальной политики, богатства и благополучия»<sup>41</sup>.

Когда же Лефевр убеждённо твердит, что «навязываемая государством нормальность делает неизбежной постоянную трансгрессию»<sup>42</sup>, ты жалеешь, что не можешь ему показать тысячи индивидов, которые в ходе социализации благополучно минуют «романтическую» фазу бунтарства и утопических иллюзий, с малолетства отождествившись с ценностями материального успеха.

На тотальность капитализма упорно обращает внимание Фредрик Джеймисон, который, кстати, вторит Фуко, противопоставляя историзм – модерности и пространственность – постмодерности:

«Несомненный поворот к пространству часто, казалось, давал возможность отличить постмодернизм от подлинного модернизма. Опыт темпоральности, присущий последнему – экзистенциальное время, а также глубокая память, – привычно считается доминантой высокого модернизма»<sup>43</sup>.

«Пространственная форма» лучших образцов высокого модернизма обладает, по Джеймисону, сходством с дворцами памяти, описанными Фрэнсис Йейтс, т. е. античными формами организации памяти, которые базировались на уподоблении последовательности рассказа оратора упорядоченным местам какого-то здания. Временная упорядоченность, воцарившаяся в интеллектуальной жизни Европы на тысячелетия, противопоставляется Джеймисоном «пре-

<sup>40</sup> Lefebvre, *The Production of Space*, op. cit., p. 23.

<sup>41</sup> Harvey D. *Spaces of Capital: Towards a Critical Geography*. Edinburgh University Press, Edinburgh, 2001; especially «Cartographic Identities: Geographical Knowledge Under Globalisation», pp. 208–233. P. 3.

<sup>42</sup> Lefebvre, *The Production of Space*, op. cit., p. 23.

<sup>43</sup> Jameson F. *Postmodernism, or The Cultural Logic of Late Capitalism*. Durham, NC: Duke University Press, 1991.

рывному пространственному опыту и смещениям постмодерна». В этих рассуждениях сегодня важно, что теоретик проводит различие между «двумя формами взаимосвязи времени и пространства». Хотя «постмодернистский идеал героического шизофреника» (который можно почерпнуть в трудах Делёза) и нацелен на невозможное, а именно попытку вообразить чистый опыт «чисто» пространственного настоящего, находящегося вне «прошлой истории и будущей судьбы», идеальный опыт шизофреника – это всё-таки опыт временной, что-то близкое вечному настоящему Ницше.

В то же время в опыте большинства людей, отмеченном постмодернизмом, темпоральности места нет, о ней скорее лишь пишут, чем её переживают. Другое дело, что и опыт и его выражение – скорее компоненты века модернистского, а «в постмодерном веке им нет места», так что остаётся неясным, что именно должно подвергнуться опространствливанию – категории мышления? Неясно и то, кто же носитель «воли использовать или поставить время на службу пространству»? Не прояснён и статус опыта в постмодернизме: в воспроизведённом пассаже Джеймисон, с одной стороны, выделяет специфический, только постмодерну присущий опыт, главная характеристика которого – прерывность, а с другой стороны, повторяю, допускает, что опыту в постмодерне вообще нет места.

### Немного о студенческой аудитории

В постмодерне какому-то опыту, похоже, всё же место находится. Учителя лучшей екатеринбургской гимназии с ужасом рассказали о недавней (статья закончена в марте 2011) проверке работ ЕГЭ по русской словесности в городе и области. В одной из работ задание написать о кризисе гуманизма проиллюстрировано наблюдениями за состоянием ипотеки в регионе (что-то важное здесь, по-моему, схвачено). Предложение проанализировать хрестоматийное решение покидающей Москву семьи Ростовых отдать подводы раненым превратилось, в другой работе, в «эвакуацию раненых на подводной лодке в романе Достоевского *Война и мир*». Такие рассказы рождают понятные опасения: идеи, значимые для вузовских педагогов, и потребности и ценности их завтрашних подопечных неумолимо расходятся. В то же время те, кто заканчивают университеты сегодня, неохотно их покидают: им кажется, что если они останутся в сфере высшего образования, то будут застрахованы от жлобства и крайностей «гибкого» трудоустройства. В любом случае не совсем ясно, кому мы будем адресовать наши сложные и не очень речи о пространстве через несколько лет. Но, в духе «перформативного поворота», можно сказать, что, только пытаясь что-то изменить, приобретёшь основания для алармистских, скептических (ими я уже поделилась) или оптимистических суждений о нашем безнадежном деле.

Участие в проекте даёт нам всем шанс, если злоупотребить известной метафорикой, проложить тропы через дисциплины и об-

ласти литературы, до нас разъединённые, чтобы найти новые ресурсы, стимулы, причины для собственного и студенческого интереса к пространственной проблематике. Теоретическое влияние постколониализма на социальную теории привело к увеличению внимания к тому, как знание производится в не-западном контексте, так что отдельную и перспективную тему разговоров со студентами может составить специфика производства научного и иных видов знания в Восточной Европе и России. Практически это выражается в том, что востребованы приложения западной теории к соответствующему материалу. Призывать ли к созданию «собственной» теории или аккуратно анализировать пределы таких приложений – выбор всегда остаётся за преподавателем, но чешский антрополог Якуб Грыгар в своей лекции на нашей февральской Школе подал, по-моему, вдохновляющий пример работы с конкретной (модной, что немаловажно) акторно-сетевой теорией для этнографического анализа мелкой контрабанды сигарет и межграницной миграции на польско-белорусской границе. Обсуждение его лекции, с моей точки зрения, было одной из самых продуктивных точек нашей работы, потому что мы говорили о конкретной теории, о том, что она может (бросить настолько свежий взгляд на происходящее на границе, что пачка сигарет и прячущая их на своём теле пожилая «контрабандистка» будут «уравнены в правах») и чего она не может (инкорпорировать в исследование биографии информантов – как раз провести различие между живым женским телом и неодушевлённым куревом (замечание Стива Пайла)). Такой разговор вполне можно построить в студенческой аудитории, опираясь на юношеское стремление разоблачать и обнажать слабости чего угодно.

Когда мы с Альмирой Усмановой сами являлись участниками одного из летних университетов, мне запомнились слова нашего главного лектора, историка и теоретика искусства из Университета Огайо Стивена Мелвилла (он был «главным», потому что с нами, участниками, разлучался только на несколько часов сна): «Мы можем дать нашим студентам прошлое, которого у них без нас не будет». Что может входить в это прошлое? Туда, *во-первых*, должны войти интересные разговоры о *сложном*, независимо от того, в какой области знания эта сложность продуцируется. Больше того, если нам повезёт с молодыми коллегами, мы даже можем *подсадить* их на сложность, снабдив своеобразным иммунитетом против слишком лобовых аргументов, примитивных схем и риторических клише. Разбирая последние российские фильмы, один из пронципальных наших комментаторов Булат Назмутдинов ставит такой диагноз:

«Это скольжение по поверхности, косность сознания, его заштампованность – одни из самых страшных симптомов российского общества. Они, помноженные на неуважение к личному миру другого, отсутствие должной дистанции, неадекватность, являют собой нечто ужасное. Чёрно-белое общество опасно, прежде всего, своей склонностью к мгновенному делению всего и вся на “правильное” и “не-

верное». Причём если на уровне принципов и идей такая поляризация необходима, то в обыденных отношениях между людьми поспешное деление всех на своих и чужих, добрых и прочих не менее опасно, чем релятивизм»<sup>44</sup>.

Вспоминается также замечание теоретика словесности, американиста Татьяны Венедиктовой на недавней конференции российских американистов и американских славистов о том, что пренебрежение гуманитарным компонентом высшего образования в ходе его нелиберального реформирования чревато тем, что люди перестанут считать иронию, многослойность адресуемых им посланий, начнут воспринимать говоримое «в лоб», примером чего явилась реакция на карикатуры пророка Мухаммеда. Когда в рамках проектов HESP мы обсуждаем, как наилучшим образом транслировать передовое знание студентам, большинство которых не собираются становиться учёными, очень важно избегать проявлений индоктринации: самая лучшая теория, толкуй она о толерантности или реляционности, будет бесполезной, если её преподавать «в лоб» и безапелляционно, без сопоставления с тем, что студенты уже знают (или хотят знать). Так, снова подчеркну, что ставить под вопрос «контейнерное» мышление в условиях, когда обращённый в прошлое национализм составляет единственный ресурс легитимности власти, нужно очень изобретательно, отдавая себе отчёт в том, что твои речи и тексты, которые ты на этот счёт предложишь, могут показаться студентам прекраснодушными и не относящимися к делу.

*Во-вторых*, в это прошлое есть смысл попытаться включить аффективные и эмоциональные компоненты, «моменты интенсивности», как их называет Ханс Ульрих Гумбрехт<sup>45</sup>, подчёркивая, что хотя они не воспитывают, они важны, так как «в такие моменты мы ... ощущаем просто-напросто высшую степень мобилизации наших обычных познавательных, эмоциональных, может быть, даже физических способностей». «Пространство субъекта», «субъективное переживание пространства», «пространственное воображение» – темы, давно и активно у нас разрабатываемые<sup>46</sup>, правда, к сожалению, вне диалога с западной традицией культурной географии. К примеру, О. Лавренова и И. Митин, следуя идеям И-Фу Туана, говорят о «топофилии», о тех или других вариантах привязанности к месту, но в приводимой ими литературе нет ни одного текста о современной России.<sup>47</sup> Между тем обсуждение того, какие места мы любим (кроме собственных любовно обихаживаемых квартир),

<sup>44</sup> Назмутдинов Б. Неудобные вопросы русского кино // *Русский журнал*. 2010. [Электронный ресурс] Точка доступа: <http://www.russ.ru/pole/Neudobnye-voprosy-russkogo-kino>.

<sup>45</sup> Гумбрехт Х.У. *Производство присутствия: чего не может передать значение*. М.: НЛО, 2006. С. 100.

<sup>46</sup> См. прежде всего многочисленные работы Д.Н. Замятина.

<sup>47</sup> Лавренова О.А., Митин И.И. Топофилия [Материалы к словарю гуманитарной географии] // *Гуманитарная география: Научный и куль-*

а какие места, пространства, города и страны не любим, проходит всегда весьма занимательно и плодотворно: тему мизантропии, присутствующей городскому обитателю, обоснованно начал разрабатывать ещё Георг Зиммель. Иными словами, дискуссии о пространстве, скорее всего, породят целый спектр эмоций: от пробудившихся вдруг сильных неприязни и зависти до, возможно, восторга. Другое дело, что это будет за восторг. На организованном мною обсуждении фильма Элен Шатлен, посвящённого ГУЛаг, несколько лет назад, одна из студенток сказала об узниках следующее: «Конечно, эти люди мучились, но зато с их помощью мы покорили новые пространства!» Пути, какими националистическая пропаганда проникает в сердца умных людей, могут быть самыми различными, и ещё раз подчеркну, что «безродный космополитизм» иного преподавателя рискует столкнуться с совершенно иными, искренними, выношенными, но от этого не менее для него проблематичными чувствами студентов. Современные варианты переживания возвышенного, переполненность огромностью мира, тем, как сложно и непредсказуемо в нём сосуществуют живое и неживое, проблематизация стремительно набирающей популярность отношения к жизни по принципу *feeling good as part of being creative* – возможны и такие измерения разговоров по поводу пространства. Сложности современного устройства жизни – финансовые рынки, сети информации, границы, менеджмент частной жизни – так или иначе воплощаются в культурных репрезентациях, с той оговоркой, что те, стремясь схватить текучесть, скорость и эфемерность происходящего, хотя и всё менее буквальны, но всё же могут лечь в основу сюжетов, карт и фильмов.

### Заключение

Как избежать укрепления того, что ты думаешь, что свергаешь, – этот вопрос неслучайно преследовал Мориса Бланшо, Мишеля Фуко и других мыслителей, у которых критичность сочеталась с трезвостью. Думая о том, как менять преподавание пространственной проблематики в претерпевающих реформу университетах, как включить в учебные планы курсы, посвящённые идеям и фигурам, не желающим смириться с кажущейся бесперспективностью критики, нужно помнить, что количество тех «других» пространств и мест, где люди могли бы осознать свои общие с другими политические интересы, стремительно сокращается. Между тем специфика проблематики, которая ассоциируется с «поворотом к пространству», заключается в её тесной связи как с политиками дисциплинарного знания, так и с возможностями политики в постполитическом мире. Нарастающая зарегулированность университетской жизни, исчезновение из учебных планов хороших курсов, протекающее под разговоры об инновациях и открытости, конечно,

---

*турно-просветительский альманах*. Вып. 4. М.: Институт культурного наследия, 2007. С. 339–342.

осложняют организацию содержательного разговора о пространстве на новый лад. Уроки, которые вместе со студентами мы могли бы извлечь, перечитывая тексты инициаторов «поворота», могут состоять в проблематизации господствующих социальных стереотипов, в том числе и критических, и в установлении связи между дорогими студентам «анекдотами», случаями, компонентами фоновое знания и теми фантастическими взлётами, на которые оказалась способна современная пространственная мысль.